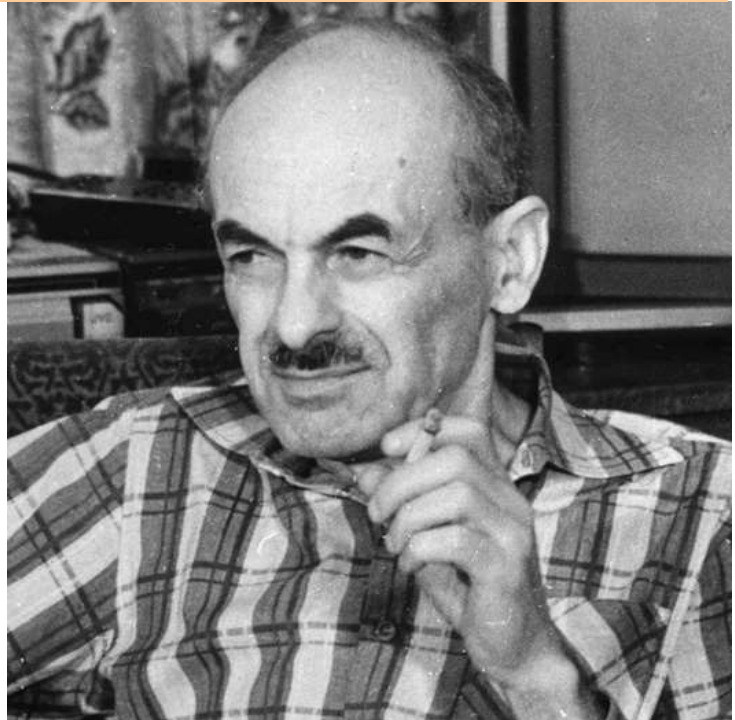
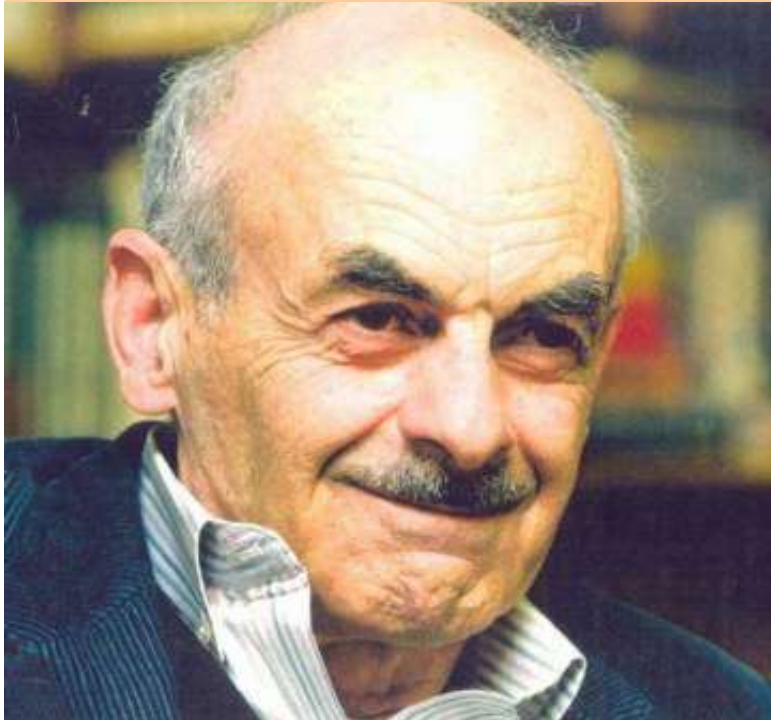


ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 10. СТИХИ.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Булат Шалвович Окуджава (1924 - 1997) – писатель (поэт, прозаик), сценарист, автор песен и музыки.

Родился Булат Окуджава 9 мая 1924 года в Москве в семье, эмигрировавшей из Грузии. Первое образование в биографии Булата Окуджавы было получено в школе Тбилиси, но в русскоязычном классе. В 1940 году стал работать учеником токаря в Тбилиси. Во время Великой Отечественной войны добровольно отправился на фронт, где был ранен. Первая песня Окуджавы была написана на Северо-Кавказском фронте в 1943 году, однако не сохранилась. Вторая песня в биографии Окуджавы была написана в 1946 году.

Высшее образование получил в государственном университете Тбилиси, по окончании которого стал работать учителем. В 1956 году переехал в Москву. Первые выступления в биографии Окуджавы, на которых он пел песни на свои стихи и музыку, состоялись в 1956. Примерно в это время Булат сочиняет самые известные свои песни.

Литературная карьера Окуджавы привела его к работе в «Молодой гвардии» (редактором), «Литературной газете» (заведующим отделом). Позже стал членом Союза писателей СССР. Особо популярной стала песня Окуджавы «Здесь птицы не поют», исполненная в фильме «Белорусский вокзал». Также за свою биографию Булат Окуджава сочинил множество песен для мультфильмов, кинофильмов, написал несколько повестей. Первый альбом его песен вышел в 1968 году во Франции. В 1997 году скончался в парижской больнице.

* * *

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты...
Бери шинель - пошли домой.

Война нас гнула и косила.
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына...
Бери шинель - пошли домой.

К золе и пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись...
Бери шинель - пошли домой.

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель - пошли домой.

Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?
Бери шинель - пошли домой.

Мы все - войны шальные дети,
И генерал, и рядовой
Опять весна на белом свете...
Бери шинель - пошли домой.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

С. П. Щипачеву¹

Не представляю Пушкина² без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.

Не представляю родины без этого звона.

В сердце ее он успел вращи,
как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо — в горсти.

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься.
Падайте, снежинки, на плечи ему...
У тех — всё утечи, у этих — всё зрелища,
а Александр Сергеича ждут в том дому.

И пока, на славу устав надеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся господа гвардейцы,
и к столу скликает «Вдова Клико»,

там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью — всегда правы...
Что ж мы осторожничаем?

Мудрость не в этом.

Со своим веком можно ль на «вы»?

По Пушкинской площади плещут страсти,
трамвайные жаворонки, грех и смех...
Да не суетитесь вы!

Не в этом счастье...

Александр Сергеич помнит про всех.

АНГЕЛЫ

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за нами вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что - ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску - яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

АРБАТСКИЙ ДВОРИК

...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,

но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человеческой душой.

Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.

АРБАТСКИЙ РОМАНС

Арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастие;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.

Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.

Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!

Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться...
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому нет смысла повторяться.

Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то все, как видно, и вернется.

Была бы нам удача всегда из первых рун,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и все при вас, целехонько, как было:

арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

* * *

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью.
Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль...
А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,
хотя б одного, и не будет отныне... А жаль.

Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,
разумный свой век, многоопытный век свой любя...
А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему
и мы до сих пор все холопами числим себя.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,
мы все обрели: и надежную пристань, и свет...
А все-таки жаль — иногда над победами нашими
встают пьедесталы, которые выше побед.

Москва, ты не веришь слезам — это время проверило.
Железное мужество, сила и стойкость во всем...
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.

Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.

* * *

Ф.Искандеру

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою - обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объятия упадет.

Так не делайте ж запасов из любви и доброты
и про черный день грядущий не копите милосердье:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка.
Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах...
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок -
только ровная дорога до последнего звонка.

В ГОРОДСКОМ САДУ

Круглы у радости глаза и велики —
 у страха,
и пять морщинок на челе
 от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер,
но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело
свой вид.

Все встало на свои места,
едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд —
на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено,
 квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт,
которым сносу нет?

«Не все ль равно: какой земли
 касаются подошвы?
Не все ль равно: какой улов
 из волн несет рыбаки?
Не все ль равно: вернешься цел

или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде —
товарищ или враг?..»

О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем,
наверно, потому
играет будничнй оркестр
привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко
все тянемся к нему.

Ах, музыкант, мой музыкант!
Играешь, да не знаешь,
что нет печальных, и больных,
и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах, музыкант, мой музыкант,
черешневый кларнет!

* * *

В нашей жизни, прекрасной, и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежую раной
призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжуливать жалкие крохи,
а творить,
засучив рукава.

ВАНЬКА МОРОЗОВ

А. Межирову¹

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволоке ходила,
махала белою рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял большие сотни:
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохла,
и было ей не все равно.

Он на извозчиках катался,
циркачке чтобы угодить,
и соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволоке идешь!

ВЕСЕЛЫЙ БАРАБАНЩИК

Встань пораньше, встань пораньше,
встань пораньше,
Когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь,
как веселый барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,

звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся - услышишь,
 как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер - заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь - и ты увидишь,
 как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше.
Сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь,
 как веселый барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?!

ВОБЛА

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикоснулась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.
А когда-то кружок звон, как звон наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек -
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

* * *

Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.
Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.

ВСТРЕЧА

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил) —
— Мартынов — что...—
 он мне сказал с улыбкой.-
Он невиновен.
Я его простил.
Что — царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что — раб?.. Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп — две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней средин.
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.

Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы все забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что - пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но слава богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...

Мой дорогой,
пока с тобой
мы живы,
все будет хорошо
у нас с тобой...

* * *

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

И было что-то в крике том
от горькой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь,

и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.

ГОЛУБОЙ ШАРИК

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

ГОНЧАР

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять,
и месить,
и молоть...

И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий,
поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

Царь, а царь,
это рыбы раба твоего,
бык раба твоего...
Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего
раба твоего.

Царь, а царь,
хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою

озоровать:
Бога — побоку,
бабу — под бок, на кровать?!
Царь, а царь,
когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык —
отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых,
пять рыб голубых...

ДЕРЗОСТЬ, ИЛИ РАЗГОВОР ПЕРЕД БОЕМ

- Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
- Господин генерал, вспомнились амуры -
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
- Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы все про баб!
- Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомнить хотя б.
- Господин лейтенант, не к добру все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...
- Господин генерал, будет нам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
- На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...
- Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
- Черт возьми, лейтенант, да что это с вами!
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!
- Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...

- Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счесть с тобой трибунал сведет...

- Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

ДЖАЗИСТЫ

С.Рассадину

Джазисты уходили в ополченье,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.

Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли,
и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.

На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделать, что поделать, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.
И все-таки под музыку Земли
их в поминанье светлое внесли,

когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,

отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ.

За упокой.

1959

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли -
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб - разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!

Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

ДОРОЖНАЯ ФАНТАЗИЯ

Таксомоторная кибитка,
трясущаяся от избытка
былых ранений и заслуг,
по сопкам ткет за кругом круг.

Миную я глухие реки,

и на каком-то там ночлеге
мне чудится
 (хотя и слаб)
переселенческой телеги
скрип,
 и коней усталых храп,
и мягкий стук тигриных лап,
напрягшихся в лихом набеге,
и крик степи о человеке,
и вдруг на океанском берегу —
краб,
 распластавшийся как раб...

С фантазиями нету сладу:
я вижу, как в чужом раю,
перемахнув через ограду,
отыскивая дичь свою,
под носом у слепой двустволки
ободранные бродят волки...
Я их сквозь полночь узнаю.

А сторож-то! Со сторожихой
с семидесятилетней, тихой!
Они под жар печной — бока,
пока созревшей облепихой
дурманит их издалека,
пока им дышится,
 пока
им любопытны сны и толки,
пока еще слышны им волки,
и августа мягка рука,
пока кленовый лист узорный
им выпадает на двоих...
Вот так я представляю их,
случайный бог таксомоторный,
невыспавшийся, тощий, черный,
с дорожных облаков своих.

ДУНАЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ

Оле

Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове
вдруг очутиться!

Там - каналы, там - гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.

Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.

Там у пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит - сколько надо, нарожают.

Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит.
Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим.
И объятъя наши жарки, и над нами ангел кружит
и клянется нам, что счастливы мы будем.

Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том,
 вчерашнем,
быть влюбленным и не думать о спасенье,
пить вино из черных кружек, хлебом заедать
 домашним,
чтоб смеялась ты и плакала со всеми.
Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда,
 в начало,
к тем ребятам уходящим приобщиться.
И с тобою так расстаться у дунайского причала,
чтоб была еще надежда воротиться.

* * *

Ехал всадник на коне.
Артиллерия орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне...
Иллюстрация к войне.

Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь.
Все затянется к утру...
Иллюстрация к добру.

Мир замешан на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит -
ниточку не оборви...
Иллюстрация к любви.

ЖИВОПИСЦЫ

Ю. Васильеву

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
 словно листья к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.
Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте,
 вам зачтется...
Что гадать нам:
 удалось — не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы — чужие.
 Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

ЗАМОК НАДЕЖДЫ

Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил.
 Мир так устроен:
была бы надежда — пусть не хватает сил.

А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки — смеялись.

Мне было тогда наплевать на белых сорок.

Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.

Безымянную птицу, которую так люблю.

«Жизнь коротка. Не успеешь, дурак...»

Рискую.

Женщина уходит, посмеиваясь.

Леплю.

Коронованный всеми празднествами, всеми боями,
строю-строю.

Задубела моя броня...

Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,

плачьте,

плачьте,

плачьте

вместо меня.

* * *

Земля изрыта вкривь и вкось.

Ее, сквозь выстрелы и пенье,

я спрашиваю: «Как терпенье?

Хватает? Не оборвалось —

выслушивать все наши бредни

о том, кто первый, кто последний?»

Она мне шепчет горячо:

«Я вас жалею, дурачье.

Пока вы топчетесь в крови,

пока друг другу глотки рвете,

я вся в тревоге и в заботе.

Изнемогаю от любви.

Зерно спалите — морем трав

взойду над мором и разрухой,

чтоб было чем наполнить брюхо,

покуда спорите, кто прав...»

Мы все — трибуны, смельчаки,

все для свершений народились,

а для нее — озорники,

что попросту от рук отбились.

Мы для нее как детвора,
что средь двора друг друга валит
и всяк свои игрушки хвалит...
Какая глупая игра!

* * *

Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста:
шофер в автобусе — мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улице гулять с другим...
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немислимый такой на ней...
Ах Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!
1958

ИСКАЛА ПРАЧКА КЛАД

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,

и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной

и что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.
1958

КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.
Перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

КОРОЛЬ

В. Федорову

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ.
И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, - и спасет.

Но однажды, когда "мессершмитты", как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону -
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота

(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Ленки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

* * *

Кричат за лесом электрички,
от лампы - тени по стене,
и бабочки, как еретички,
горят на медленном огне.
Сойди к реке по тропке топкой,
и понесет сквозь тишину
зари вечерней голос тонкий,
ее последнюю струну.

Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды...
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза - к реке,
твердя вечернии молитвы
на тарабарском языке.
Там птицы каркают и стонут.
Синеют к ночи камыши,
и ветры с грустной истомой
все дуют в дудочку души...

ЛЕНИГРАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, ночному комару, что в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.
Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно...
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное
покрытие

ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство невское,
И слышалась лишь переключка площадей пустых...
И что-то женское мне чудилось сквозь резкое
слияние ее бровей густых.

Как будто гаснувший фонарь,
она качалась в бездне синей,
туда-сюда над Петропавловской скользят...
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.
Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат...
И словно невская волна, на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал все это.

* * *

Магическое «два». Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два сокола, два соболя, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —
там, наверху, и у меня в груди.
И, залитый морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
...а мальчики торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

МАРТ ВЕЛИКОДУШНЫЙ

У отворенных
у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью,
где звуки
стекают по стволам,
стоит лесник,
и у него —
мои глаза и руки.
А лесу платья старые тесны.

Лесник качается
на качкой кочке
и все старается
не прозевать весны
и первенца принять
у первой почки.
Он наклоняется — помочь готов,
он вслушивается,
лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек
неосторожный.
Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они
друг друга учат,
как под открытым небом
март рожать!
Все снова выстроить — нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома...
И почве выстрелить
свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается.
И под его рукой
лесник качается,
как лист послушный...
Зачем отчаиваться,
мой дорогой?
Март намечается
великодушный!

* * *

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж уместается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,

на ярмарке
 поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке
 поцелуев и драк,
в славословии
 и гульбе
выбрать только любовь себе!

МЕДСЕСТРА МАРИЯ

А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?
- Ты знаешь, а вот офицерские дочки
на нас, на солдат, не глядят.

А поле клевера было под нами,
тихое, как река.
И волны клевера набегали,
и мы качались на них.

И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.
И были черными и бездонными
голубые ее глаза.

И я сказал медсестре Марии,
когда наступил рассвет:
- Нет, ты представь: офицерские дочки
на нас и глядеть не хотят.

* * *

Мне не хочется писать
Ни стихов, ни прозы,
хочется людей спасать,
выращивать розы.

Плещется июльский жар,
воском оплывает,
первый розы красный шар
в небо уплывает.

Раскрываются цветы
сквозь душные травы
из пчелиной суеты
для чести и славы.

За окном трещит мороз
дикий, оголтелый -
расцветает сад из роз
на бумаге белой.

Пышет жаром злая печь,
лопаются плитки,
соскользают с гордых плеч
лишние накидки.

И впадают невпопад
то в смех, а то в слезы
то березы аромат,
то дыханье розы.

МОЛИТВА

Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть!—
дай рвущемуся к власти
навластиваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние...

И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

МУЗЫКА

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем.
И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!
Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,
и каждый жест велик, как расстоянье,
и веточка умершая жива, жива...
И стыдно мне за мелкие мои старанья
и за непоправимые слова.
...Вот сила музыки. Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко...
И музыки стремительное тело
плывет, кричит неведомо кому:

"Куда вы все?! Да разве в этом дело?!"
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!
...Вот черт, как ничего еще не надоело!

* * *

М. Хуциеву

Мы приедем туда, приедем,
проедем — зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.

Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моей любовью
перемешиваются во мне.

...Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.

Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лица дыша...
Мы наездили, мы не торопимся,
мы хотим хоть раз не спеша.

После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,

мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.

* * *

На арбатском дворе - и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему веселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабытые лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

* * *

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно когда глядишь с порога,
особенно когда надежды нет.

* * *

На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где все имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа,-
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.
По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурым;
потом сажусь и за столом сижу
под лампою с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но тем не мене
никто, никто не ведает,
 о чем
я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которую вселенная объята...
И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо* и от Сократа.

* Крестьянин (груз.)

* * *

Надежда, белою рукою
сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони от крыльца.

Сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том, что я несчастен, врут.

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться.
Еще не пройден тот подъем.

Еще друг друга мы найдем...

Все эти улицы - как сестры.
Твоя игра - их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.

Ты так играешь, так играешь,
как будто медленно сгораешь.
Но что-то есть в твоём огне,
еще неведомое мне.

* * *

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

* * *

Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не все подчиняется.
Эту грустную песню придумала война...
Через час штыковой начинается.

Земля моя, жизнь моя, свет мой в окне...
На горе врагу улыбнусь я в огне.

Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.

Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
я пойду напрямик
в пулеметное поколачиванье,
в предсмертный крик.
А если, на шаг всего опередив,
достанет меня пуля какая-нибудь,
сложите мои кулаки на груди
и улыбку мою положите на грудь.
Чтоб видели враги мои и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, старшина, эту песню допеть.
Пусть хоть что судьбой напророчится:
хоть славная смерть,
хоть геройская смерть -
умирать все равно, брат, не хочется.

* * *

Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги - та и эта,
та натруживает ноги, эта душу берedit.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги - та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри - не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой не завели,
неизменно впереди две дороги - та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

* * *

А.Ш.

Нева Петровна, возле вас - всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.

Я с женщинами не бывал счастливым,
вы - первая. Я чувствую, что - вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы - рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

НОВОЕ УТРО

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид,
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

- Мой конь притомился,
стоптались мои башмаки.

Куда же мне ехать?

Скажите мне, будьте добры.

- Вдоль Красной реки, моя радость,
вдоль Красной реки,
До Синей горы, моя радость,
до Синей горы.

- А как мне проехать туда?

Притомился мой конь.

Скажите, пожалуйста,

как мне проехать туда?

- На ясный огонь, моя радость,
на ясный огонь,
Езжай на огонь, моя радость,
найдешь без труда.

- А где же тот ясный огонь?

Почему не горит?

Сто лет подпираю я небо ночное плечом...

- Фонарщик был должен зажечь,
да, наверное, спит,
фонарщик-то спит, моя радость...
А я ни при чем.

И снова он едет один,
без дороги,
во тьму.

Куда же он едет,

ведь ночь подступила к глазам!..

- Ты что потерял, моя радость?-
кричу я ему.

И он отвечает:

- Ах, если б я знал это сам...

* * *

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают.

По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин,
и грустные те комиссары идут по Москве как один,
и нету, и нету погибших среди старых арбатских ребят,
лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо, не спят.

Пусть память - нелегкая служба, но все повидала Москва,
и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК МОЕГО СЫНА

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он все ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинется трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.

* * *

Осень ранняя.
Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождички скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело оленья...
Вот земля, на которой живу.

Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней:
 топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

...Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву...
Ничего не попишешь:
 природа!
Вот земля, на которой живу.

ОХОТНИК

Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе Бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...

Он должен
умереть
с улыбкой.

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не услышу!
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПЕРЕДОВОЙ

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не спрашивая.
Так вот она - передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.

Звенят, звенят:
возле меня.
Летят, летят -
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.

А пули звенят
возле меня.
Летят, летят -

крови моей хотят.

Кричу, обессилен,
через хрипоту:
"Пропадаю!"
И к ногам осины,
весь в поту,
припадаю.

Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?..

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прислонившись, сижу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

ПЕСЕНКА КАВАЛЕРГАРДА

Кавалергарды, век недолог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и все как будто под рукою,
и все как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный -
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной

любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

ПЕСЕНКА О КОМСОМОЛЬСКОЙ БОГИНЕ

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.

За окном все дождик тенькает:
там ненастье во дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.

А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.

И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

1958

ПЕСЕНКА О МОЦАРТЕ

И. Балаевой

Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов своей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые:
миг —
и развеются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над Землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой
спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счета свои.

Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя..
Товарищ мужчина,
а все же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
куда ж мы уходим,
когда за спиною бушует весна?

ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком - сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

ПЕСЕНКА ОБ АРБАТЕ

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои — люди невеликие,
каблуками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя.
1959

ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда метель кричит, как зверь —
Протяжно и сердито,
Не запирайте вашу дверь,
Пусть будет дверь открыта.

И если ляжет дальний путь
Нелегкий путь, представьте,
Дверь не забудьте распахнуть,
Открытой дверь оставьте.

И, уходя в ночной тиши,
Без лишних слов решайте:
Огонь сосны с огнем души
В печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
И мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
Замку цена — копейка!

ПЕСНЯ О МОСКОВСКОМ МУРАВЬЕ

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Все позабыв - и радости и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.
1959

ПИСЬМО АНТОКОЛЬСКОМУ

Здравствуйте, Павел Григорьевич!
 Всем штормам вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.

Работа наша матросская
 призывает бодрствовать нас,
хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас

(а может быть, вы моложе, а я
немного старей)...
Ну что нам все эти глупости?
Главное — плыть поскорей.

Киплинг, как леший, в морскую дудку
насвистывает без конца,
Блок¹ над картой морей просиживает,
не поднимая лица,
Пушкин² долги подсчитывает,
и, от вечной петли спасен,
в море вглядывается с мачты
вор Франсуа Вийон!

Быть может, завтра меня матросы
под бульканье якорей
высадят на одинокий остров
с мешком гнилых сухарей,
и рулевой равнодушно встанет
за штурвальное колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы
на прощание мне в лицо.

Быть может, все это так и будет.
Я точно знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море,
чем на берегу.
И лучше пусть меня судят матросы
от берегов вдали,
чем презирающие море
обитатели твердой земли...

До свидания, Павел Григорьевич!
Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти
запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней
в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

* * *

По какой реке твой корабль плывет
до последних дней из последних сил?

Когда главный час мою жизнь прервет,
вы же спросите: для чего я жил?

Буду я стоять перед тем судом -
голова в огне, а душа в дыму...
Моя родина - мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.

Средь стерни и роз, среди войн и слез
все твои грехи на себе я нес.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры - матросы твои -
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

ПОСЛЕДНИЙ МАНГАЛ

*Тамазу Чиладзе,
Джансугу Чарквиани*

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканной золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.
А тот мангал, словно пес — на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.
И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердье своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел и вильнул жестяным хвостом.
Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог, в духане
с надеждой слушал слова людей...
...Поэты плакали. Я смеялся.
Стакан покачивался в руке.
И современно шипело мясо
на электрическом очаге.

* * *

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит нелепым,-
нытики и остряки?

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?

Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно -
невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежный путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?

Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколеньям,
обоженным нетерпеньем,
тоже это предстоит.

ПРИЕЗЖАЯ СЕМЬЯ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

А. Цибулевскому

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает,
но вот что интересно:
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.

Все счета кончены, и кончены все споры.

Тверская улица течет,
куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются...
И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны
(для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодеяния
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.

Мы будем счастливы
(благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая пронесется и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.

ПРИМЕТА

[А. Жигулину](#)

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.

Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
Ну а как стрельба пойдет,
пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого,
хоть в чужого, хоть в свово..
Во, и боле ничего.

Во, и боле ничего.
Во, и боле никого.

Кроме ворона того:
стрельнуть некому в него.

* * *

Пробралась в нашу жизнь клевета,
как кликуша глаза закатила,
и прикрыла морщинку у рта,
и на тонких ногах заходила.

От раскрытых дверей — до стола,
от стола — до дверей, как больная,
все ходила она и плела,
помятая тебя, проклиная.

И стучала о грудь кулаком,
и от тонкого крика синела,
и кричала она о таком,
что посуда в буфете звенела.
От Воздвиженки и до Филей,
от Потылихи до Самотечной
все клялась она ложью твоей
и своей правотой суматошной...

Отчего же тогда проношу
как стекло твое имя?
Спасаюсь?
Словно ногтем веду по ножу -
снова губ твоих горьких касаюсь.

И смеюсь над ее правотой,
хрипотою ее, слепотою,
как пропойца - над чистой водою.
Клевета.
Клеветы.
Клеветой.

* * *

Продолжается музыка возле меня.
Я играть не умею.
Я слушаю только.
Вот тарелки, серебряным звоном звеня,

на большом барабане качаются тонко.
Вот валторны
 восторженно
 в пальцы вплелись.
Вот фаготы с каких-то высот пролились,
и тромбонов трудна тарабарская речь,
две вертлявые скрипки идут на прогулку
между мной и кулисами
 по переулку,
не сходя с музыкантских мозолистых плеч...
Все известно!
Нельзя ли чего поновей?
Не смычком — по струне, например,
 а струною -
по стене, например...
 Или чтоб за стеною
старательно старый запел соловей...
Соловей?..
 А нельзя ли чего поновей?

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Осенний холодок.
Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай.
И снова
неподвижными губами
короткое, как вздох:
 «Прощай, прощай.»

«Прощай, прощай...»
Да я и так прощаю
все, что простить возможно,
обещаю
простить и то, чего нельзя простить.
Великодушным я обязан быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
«Прощай, прощай...»
Прощаю все обиды,
обеда
у обидчиков моих.

«Прощай...»
Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
единственным умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»
Старания упрямы
(знать, мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.
«Прощай, прощай...» Прощаю,
не смущаю
угрозами,
надежно их таю.
С улыбкою, размашисто прощаю,
как пироги,
прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,
покуда не повторится опять
осенний горький чай
пирог с грибами
и поздний час -
прощаться и прощать.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОЧНОЙ ВАРШАВЕ В ДРОЖКАХ

Варшава, я тебя люблю легко, печально и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть тоньше и верней,
Но та, что с левой стороны, святая мышца в человеке
как бьется, как она тоскует!..
И ничего не сделать с ней.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Отбушевал в Варшаве полдень.
Она пропитана любовью и муками обожжена,
как веточка в Лазенках та, которую я нынче поднял,
Как Зигмунта поклон неловкий, как пани странная одна.

Забытый Богом и людьми, спит офицер в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая плещется река.
Пройдут недолгие века — напишут школьники в тетрадке
Про все, что нам не позволяет писать дрожащая рука.

Невыносимо, как в раю, добро просеивать сквозь сито,
слова процеживать сквозь зубы, сквозь недоверие — любовь...
Фортуны верткую свою воспитываю жить открыто,
Надежду — не терять надежды, доверие — проснуться вновь.
зчик, зажигай фонарь на старомодных крыльях

Извозчик, зажигай фонарь на старомодных крыльях дрожек.
Неправда, будто бы он прожит, наш главный полдень на земле!
Варшава, мальчики твои прически модные ерошат,
но тянется одна сплошная раздумья складка на челе.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Я еду Краковским Предместьем,
Я захожу во мрак кавярни, где пани странная поет,
где мак червонный вновь цветет уже иной любви предвестьем...
Я еду Краковским Предместьем.
Трясутся дрожки.
Ночь плывет.

РАБ

Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар —
тебе,
а пожар —
себе...
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь,
не давай никому...
Пусть тебе — прекрасно,

госпоже — прекрасно,
холуям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОЗЛЕ ДОМА, ГДЕ ЖИЛ ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призыванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костями нам лечь.

Только так не берегите, как борзых - псари!
Только так не берегите, как псарей - цари!
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.

РЕЧИТАТИВ

Владлену Ермакову

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков¹ напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней, и подъездов глушь,
и мостовых дыханье,
 неизменно

мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
в Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки...
 Но Арбат!..

Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
все медленней живем, все тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
ввучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Прага» до Смоляги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны:
 и дети и бродяги,
спешите же...
 Все остальное — вздор.

* * *

Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.

* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел,

сто раз я клял тебя,
песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах,
хрустели...
А мы шинели рваные расстелем -
и ну жевать.
Такие сухари!

Их десять лет сушили,
не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало,
их в воде размочим -
и ну жевать,
и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
(Пируем - и солдаты и начальство...)
А пули?
Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать -
война.

* * *

Строитель, возведи мне дом,
без шуток,
в самом деле,
чтобы леса росли на нем
и чтобы птицы пели.

Построй мне дом, меня любя,
построй, продумав тонко,
чтоб был похож он на себя
на самого,
и только.

Ты не по схемам строй его,
ты строй не по стандарту,—
по силе чувства своего,

по сердцу,
по азарту.

Ты строй его — как стих пиши,
как по холсту — рисуя.
По чертежам своей души,
от всей души,
рискуя.

СЧАСТЛИВЧИК

Александру Сергеичу¹ хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,

баба щурится из избы,
в небе — жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.

Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был

красивым мужчиной.

Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

СЧИТАЛОЧКА ДЛЯ БЕЛЛЫ

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм,
Но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.

И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.

В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь — под подбородком,
и загадка на лице.

В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.

Век мой короток — не жалко,
он длинней и ни к чему...
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.

Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, злато и обман.

Что ни век — все те же нравы,
ухищренья и дела...
А Она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.
Всяким там метаморфозам
не подвержена была...

Но когда над Летним садом
возносилась луна,
Михаилу¹ с Александром²,
верно, грезилась Она.

И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

Как на лавочке сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.

Как туда вам все летелось
во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!

ТАМАНЬ

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами - в песок,

к волне - головой.

Грязная волна наползает едва -
приподнимается слегка голова;
вспять волну прилив отнесет -
ткнется устало голова в песок.

Эй, волна!

Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли - не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.

Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Помните
трудную щедрость мою.

ТРАМВАИ

Москва все строится, торопится.
И выкатив свои глаза,
трамваи красные сторонятся,
как лошади - когда гроза.

Они сдают свой мир без жалобы.
А просто: будьте так добры!
И сходят с рельс.
И, словно жаворонки,
влетают в старые дворы.

И, пряча что-то дилижансовое,
сворачивают у моста,
как с папиросы
искры сбрасывая,
туда, где старая Москва,

откуда им уже не вылезти,
не выползти на белый свет,
где старые грохочут вывески,

как полоумные, им вслед.

В те переулочки заученные,
где рыжая по крышам жесть,
в которых что-то есть задумчивое
и что-то крендельное есть.

* * *

У поэта соперников нету —
ни на улице и не в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его,— нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна
и себе на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
ни Христос не решил, ни Иуда...
Если там благодать,
что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,
как прожить от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку,
как в пол — предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы со щек...
А последнее — Богу,
последнее — это не наше,
последнее — это не в счет.

Умереть — тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов занять —
ах как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног наповал,
отпущением что он добудет?
Если б Бог отпущенье давал...
А дадут-то ведь люди!

Что — грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы и вправду грехи,
а грехов-то ведь нету,
есть просто
движенье.

ФОТОГРАФИИ ДРУЗЕЙ

Деньги тратятся и рвутся,
забываются слова,

приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.

И не муки в не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы,
не случайный интерес
и не сожаленья снова...

Свет — и ничего другого,
век — к никаким чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их в пьем за них...

...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

* * *

[А. Кушнеру](#)

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.

Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.

ХРАМУЛИ

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки,
а нос — пирожком.

И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.

Но если взглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.

И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка — припев.
На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.

И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.
Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!

Представьте, она понимает призыванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей чуткие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.

ЧАЕПИТИЕ НА АРБАТЕ

Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.
Желтой свечкой стеаринной
я украшу ваш уют.

Не грустите о поленьях,
о камине и огне...
Плед шотландский на коленях,
занавеска на окне.

Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь.
Даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть.

В жизни выбора не много:
кому - день, а кому - ночь.
Две дороги от порога:
одна - в дом, другая - прочь.

Нынче мы - в дому прогретом,
а не в поле фронтовом,
не в шинелях,
и об этом
лучше как-нибудь потом.

Мы не будем наши раны
пересчитывать опять.
Просто будем, как ни странно,
улыбаться и молчать.

Я для вас, мой друг, смешаю
в самый редкостный букет
пять различных видов чая
по рецептам прежних лет.

Кипятком крутым, бурлящим
эту смесь залью для вас,
чтоб бывшее с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

Настояться дам немножко,
осторожно процежу
и серебряную ложку
рядом с чашкой положу.

Это тоже вдохновенье...
Но, склонившись над столом,
на какое-то мгновенье
все же вспомним о былом:

над безумною рекою
пулеметный ливень сек,
и холодной щекою
смерть касалась наших щек.

В битве выбор прост до боли:
или пан, или пропал...
А потом, живые, в поле
мы устроили привал.

Нет, не то чтоб пировали,
а, очухавшись слегка,
просто душу согревали
кипятком из котелка.

Разве есть напиток краше?
Благодарствуй, котелок!
Но встречал в блаженство наше
чей-то горький монолог:

"Как бы ни были вы святы,
как ни праведно житье,
вы с ума сошли, солдаты:
это - дрянь, а не питье!

Вас забывчивость погубит,
равнодушие вас убьет:
тот, кто крепкий чай разлюбит,
сам предаст и не поймет..."

Вы представьте, друг любезный,
как казались нам смешны
парадоксы те из бездны
фронтowego сатаны.

В самом деле, что - крученный
чайный лист - трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?

Что - напиток именитый?..
Но, средь крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

Был он теплый и прекрасный...
Как обида нас ни жгла,
та сентенция напрасной,
очевидно, не была.

Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,

и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество;
разговор, текущий скупом,
и как будто даже скука,
но... не скука -
естество.

1975

* * *

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви
по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
О, когда б только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает
весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.
1958

ЧЕЛОВЕК

Дышит воздухом, дышит первой травой,
камышом, пока он колыхнется,
всякой песенкой, пока она слышится,
теплой женской ладонью над головой.
Дышит, дышит - никак не надышится.

Дышит матерью - она у него одна,
дышит родиной - она у него единственная,
плачет, мучается, смеется, посвистывает,
и молчит у окна, и поет дотемна,
и влюбленно недолгий свой век перелистывает.

* * *

Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю версту
нехотя взирает.
Но во глубине его очей
будто бы — во глубине ночей
что-то созревает.

Время изменяет его внешность.
Время умиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.

Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.

* * *

Черный ворон сквозь белое облако глянет -
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним - под машинку остриженный хор.
У него - руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры -

значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить -
непонятно... А годы уходят.

Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен -
черный ворон, во всем виноватый.

* * *

Читаю мемуары разных лиц.
Сопоставляю прошлого картины,
что удается мне не без труда.
Из вороха распавшихся страниц
соорудить пытаюсь мир единый,
а из тряпья одежды обветшалой -
блистательный ваш облик, господа.
Из полусгнивших кружев паутины -
вдруг аромат антоновки лежалой,
какие-то деревни, города,
а в них - разлуки, встречи, именины,
родная речь и свадеб поезда;
сражения, сомнения, проклятья,
и кринолины, и крестьянок платья...
Как медуница перед розой алой -
фигуры ваших женщин, господа...
И не хватает мелочи, пожалуй,
чтоб слиться с этим миром навсегда.

* * *

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет!

ЭТА КОМНАТА

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.

Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.

Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.

Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас,—
я вижу, как насмешливо,

а может быть, печально
глядит она на нас.

Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть...
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

* * *

О. Чухонцеву

Я вновь повстречался с Надеждой -
приятная встреча.
Она проживает все там же -
то я был далече.
Все то же на ней из поплина
счастливое платье,
все так же горяч ее взор,
устремленный в века...
Ты наша сестра,
мы твои непутевые братья,
и трудно поверить,
что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала
чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем,
пока молодые,
мы сами себе сочиняем
и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет
не вовремя нас...
Ты наша сестра,
мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье,
да скрылось из глаз.

Когда бы любовь и надежду
связать воедино,
какая бы (трудно поверить)
возникла картина!
Какие бы нас миновали

напрасные муки,
и только прекрасные муки
 глядели б с чела...
Ты наша сестра.
 Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила,
 да старость свела.
1976

Я НИКОГДА НЕ ВИТАЛ, НЕ ВИТАЛ...

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
Городов, которых я не видал.
Я никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
я никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...
Так что же я смею?
 И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
До дома, к которому я не бегу?
И неужели не люблю
Женщин, которых не люблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу,
в пуле, которую не заслужу?..
1962

Я ПИШУ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

В.Аксенову

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман

сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел - не есть обман.
Замысел - еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:

каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.
1975

* * *

Я ухожу от пули,
делаю отчаянный рывок.
Я снова живой
на выжженном теле Крыма.
И вырастают
вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной
надежды крылья.
Васильками над бруствером,
уцелевшими от огня,

склонившимися
над выжившим отделеньем,
жизнь моя довоенная
разглядывает меня
с удивленьем.
До первой пули я хвастал:
чего не могу посметь?
До первой пули
врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля,
кого-то накрыла смерть,
а я приготовился
пулю встретить вторую.
Ребята, когда нас выплеснет
из окопа четкий приказ,
не растопчите
этих цветов в наступленье!
пусть синими их глазами
глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.